

# Жизнь бесславленных людей

1977 [52].

Разыскания в архивах, касающихся заточения в Главную богадельню и Бастилию, — постоянное намерение Фуко со времен написания им «Истории безумия». Он неоднократно принимался работать над его осуществлением и привлекал к этому других людей. Однако замысел антологии, введением к которой должно было послужить это сочинение, в 1978 году превратился в подборку «Параллельные жизни» (Галлимар) («Les vies paralleles» (Gallimard)), в которой Фуко выпустил в свет воспоминания Эрзулины Барбен, а затем, в 1979 году, «Любовный кружок Анри Леграна» по шифрованным рукописям, сохранившимся в Национальной библиотеке, переписанным и представленным Жан-Полем и Полем-Юрсеном Дюмонами. Тем не менее в 1979 году Фуко предлагает исследовать рукописи, подобранные для этой антологии, историку Арлетте Фарж, только что опубликовавшей «Жизнь на улицах Парижа в XVIII веке» (Vivre dans la rue a Paris au XVIII siecle (coll. «Archives», Julliard/Gallimard)). Из этого сотрудничества родится книга «Неурядицы в семьях» (Le Desordre des familles (coll. «Archives», Julliard/Gallimard, 1982)), посвященная «lettres de cachet» — бланкетным указам, королевским повелениям с королевской же печатью, подписанным его статс-секретарем.

Это вовсе не историческая книга. За подборкой, которую вы в ней найдете, не кроется правила более строгого, чем мой вкус, мое удовольствие, какое-то волнение, смех, изумление, ужас или совсем иное чувство, силу которого ныне, когда прошло уже первое мгновение открытия, мне, видимо, будет трудно оправдать.

Это антология существований. Собрание жизней в несколько строчек или страниц, бесчисленных несчастий и походов, собранных в пригоршню слов. Жизней кратких, случайно повстречавшихся в книгах и документах. Различных «Exempla», однако (в отличие от тех назиданий, что мудрецы собирали по ходу своих занятий) это примеры, несущие в себе не столько наставления, над коими надлежит размышлять, сколько краткие воздействия, чья сила почти тотчас же угасает. И чтобы как-то их обозначить, мне вполне бы сгодилось словечко «новелла» — из-за двойной соотнесенности, которой оно характеризует и скоротечность повествования, и действительность передаваемых событий. Ибо густота событий, о которых идет речь в этих текстах, такова, что нам уже неизвестно, связана ли пронизывающая их сила со сверканием тех слов или со свирепостью тех дел, что нагромождены там. Единичные жизни, из-за неведомых случайностей превратившиеся в странные поэмы, — вот что мне захотелось собрать в своего рода гербарии.

Мысль об этом, как сейчас помню, пришла мне однажды, когда я читал в Национальной библиотеке список помещения под стражу, составленный в самом начале XVIII столетия. Мне даже кажется, что посетила она меня за чтением вот этих двух выписок, сделанных мною в то время, и теперь они здесь, перед вами.

Матюрен Милан, помещенный в богадельню Шарантон, 31 августа 1707: «его безумство всегда понуждало его бежать из собственного семейства, вести уединенную жизнь в деревне, сутяжничать, ссужать деньги в рост и отдавать безвозвратно на пожизненные выплаты, прогуливать убогий свой разум по неведомым путям и почитать себя пригодным на самые великие должности».

Жан Антуан Тузар, водворенный в замок Бисетр, 21 апреля 1701: «расстрига-францисканец, вероотступник, крамольник, способный на величайшие злодеяния, содомит, атеист, коли можно быть таковым, сущее исчадие всяческой мерзости, так что больше подобает подавить оно, нежели оставить на воле».

Мне трудно сказать, что же в точности я испытывал, читая эти отрывки либо другие, на них похожие. Наверное, одно из тех ощущений, о которых говорят, что они «физические», как будто вообще можно иметь какие-нибудь иные. И, признаюсь, «новеллы» эти, что возникли внезапно через два с половиной века безмолвия, потрясли во мне больше фибр души, чем то, что обычно называют литературой, хотя и сегодня я не могу пока еще сказать, что же более взволновало меня: красота ли классического слога, обрядившегося в несколько пышных речений, касающихся персонажей без сомнения презренных, либо бесчинства, смесь мрачного упрямства и коварства тех жизней, чье беспутство и остервенение мы ощущаем под гладкими, как камни, словами.

Когда-то давно для одной книги я уже использовал подобные документы. И если я это тогда делал, то, видимо, также из-за той дрожи, что я испытываю еще и сегодня, когда мне случается встретить эти ничтожные жизни, превратившиеся в прах в тех самых нескольких фразах, что их и сокрушили. Мечтой моей было восстановить их напряжение в исследовании. Однако по недостатку необходимого дарования я долго предавался одному-единственному виду исследования: брал тексты во всей их сухости, допытывался, какова же была причина их появления, с какими учреждениями или с какой политической практикой они соотносились, думая узнать, почему это вдруг в обществе таком, как наше, стало так необходимо, чтобы были «подавлены» (как подавляют, гасят крик, огонек или душат зверя) монах-греховодник или взбалмошный и бестолковый ростовщик; я доискивался причины, отчего кто-то вдруг с таким рвением возжелал помешать убогим умам гулять по неведомым путям. Однако же те первые силы, что меня побуждали, оставались где-то вовне. И потому, что существовала опасность, что они и вовсе не перейдут в порядок причин, и от того, что мои рассуждения не были способны донести их так, как было необходимо, не лучше ли было оставить их в том самом виде, в каком мне суждено было их узнать?

Отсюда и идея этого сборника, сделанного немного наобум. Сборника, который составлялся бы без спешки и без ясно определенной цели- Уже давно я подумывал о том, как бы представить его в каком-то порядке, с начатками объяснения, и так, чтобы он мог являть собою минимум исторической значимости. Но я отказался от этого по причинам, к которым я вскоре вернусь, и решил всего-навсего собрать некоторое количество текстов из-за самой, как мне казалось, их силы; и я сопроводил их несколькими предуведомлениями, распределил их так, чтобы сохранить (по мне — наименьшее из возможных зол) воздействие каждого. Моя нехватка способностей обрекла меня на скромный лиризм цитирования.

Стало быть, эта книга не послужит историкам, а тем паче всем остальным. Какова же она? Книга настроения и вдобавок целиком субъективная? Я бы сказал скорее (хотя это, быть может, означает то же самое), что это книга условности и игры, книга маленького бреда, возведшего себя в систему. И сдается мне, что от начала и до конца образцом для нее послужили именно эта поэма о прихотливом процентщике или поэма об отшельнике-содомите. И как раз ради того, чтобы вновь явить нечто подобное этим существованиям-молниям, этим поэмам-жизням, мне пришлось повиноваться нескольким простым правилам:

— чтобы речь шла о персонажах, существовавших в действительности;

— чтобы жизни эти были одновременно темными и злополучными;

— чтобы о них повествовалось на нескольких страницах или, того лучше, по возможности в нескольких кратких выражениях;

— чтобы повествования эти представляли собой не просто странные или волнующие анекдоты, а чтобы так или иначе (ибо это были жалобы, доносы, приказы и сообщения) они на самом деле выступали как часть неприметной истории этих жизней, их бедствий, ярости или сомнительного безумия;

— и чтобы столкновение этих слов и этих жизней и поныне оказывало на нас определенное воздействие — смешение красоты и ужаса.

Однако необходимо, чтобы о правилах этих, что могут показаться произвольными, я объяснился чуть пространнее.

Я хотел, чтобы всякий раз речь шла о существованиях действительных, чтобы мы могли приписать им определенные дату и место, чтобы за этими уже ничего не говорящими именами, за этими резкими словами, которые, может статься, чаще всего были лживыми, клеветническими, несправедливыми, до крайности преувеличенными, стояли люди, что жили, а ныне мертвы, страдания и злодеяния, подозрения и стенания. Поэтому я изгнал все, что могло оказаться вымыслом или литературой, ибо никто из тех черных героев, которых смогли измыслить последние, не казался мне столь сильным, как все эти сапожники, беглые солдаты, торговки вразнос, письмоводители, бродячие монахи — разъяренные, греховные и жалкие, и это, несомненно, только из-за того, что мы знаем: они существовали. Точно так же я изъял все тексты, которые могли бы оказаться памятными записками, воспоминаниями, описаниями, то есть все, что излагали действительность, однако излагали ее, сохраняя по отношению к ней дистанцированность взгляда, воспоминания, любопытства или забавы. Я держался того, чтобы тексты эти всегда состояли в каком-либо отношении или, скорее, в наибольшем числе возможных отношений с действительностью; чтобы они не только с нею соотносились, но и в ней действовали, чтобы они являлись отрывками из драматургии действительного, чтобы они представляли собой орудие мщения, оружие вражды, случай в сражении, жест отчаяния или ревности, прошение или же приказ. Я стремился объединять не те тексты, что более других оставались верны действительности, что были бы достойны упоминания благодаря своей изобразительной ценности, а те тексты, что в действительности, о которой они говорят, сыграли какую-то роль и которые, взамен,

независимо от неточности, выпренности или ханжества, были бы пронизаны ею: обрывки рассуждений, волочащие за собой обломки действительности, в которую они входят. И не сборник портретов вы увидите здесь — тут ловушки, доспехи, крики, поступки, отношения, уловки, интриги, орудиями коих были слова. В этих нескольких фразах «сыгранны» настоящие жизни, и под этим я понимаю не то, что они в них изображались, а то, что на самом деле их свобода, их несчастье, часто их смерть и в любом случае их участь были в них решены, по крайней мере отчасти. Такой дискурс действительно перечеркнул эти жизни; над этими существами на самом деле висела угроза, и они сгнули в этих словах.

Кроме того, я хотел, чтобы сами эти персонажи были темны, чтобы ничто в них не располагало к какому-либо блеску, чтобы они не были наделены ни одним из установленных и признанных достоинств: рождения, богатства, святости, героизма или таланта; чтобы они относились к тем миллиардам жизней, которым суждено пройти без следа; чтобы в их несчастьях, в их страстях, в их любви и ненависти было что-то серое и обыденное по сравнению с тем, что мы обыкновенно считаем достойным повествования; и чтобы тем не менее их пронизывал какой-то жар, оживляли какая-то ярость и энергия, какая-то лихость в злобе, в сраме, в подлости, закоренелости или в незадачливости, что придавали им в глазах окружения и соразмерно самой их посредственности своего рода жуткое или жалкое величие. И я пустился на поиски такого рода частиц, наделенных тем большей энергией, чем сами они были меньше и трудноразличимее.

Однако для того, чтобы хоть что-то от них дошло до нас, требовалось, чтобы какой-то пучок света высветил их, по крайней мере на мгновение. Света, что идет от иного. Ведь то, что их вырывает из тьмы, где они могли, а возможно, и должны были остаться навеки, есть нечаянная встреча с властью, ибо без стычки этой, несомненно, не осталось бы ни единого слова, чтобы напомнить про их мимолетный след. Ведь именно власть, что подстерегла эти жизни и преследовала их, что, пусть лишь на миг, обратила внимание на их жалобы и на их мелочную возню и заклеила их обидными выражениями, и породила несколько слов, что нам от них достались: то ли к ней хотели обратиться ради доноса, иска, ходатайства или прошения, то ли она благоволила вмешаться и в нескольких словах рассудила и порешила. Все эти жизни, коим суждено было пройти ниже уровня всякого дискурса и исчезнуть, так никогда и не высказавшись, смогли оставить следы (краткие, резкие, подчас загадочные) лишь в точке их мгновенного соприкосновения с властью. И выходит, что теперь, видимо, уже вовек невозможно обрести их вновь самих по себе, такими, каковы они могли быть «в свободном состоянии», ибо ныне мы можем их засечь лишь захваченными в тех тактических пристрастиях, высокопарных фразах и императивной лжи, что предполагаются играми власти и отношениями с ней.

Однако мне тут же заявят: " Опять вы за свое, всегда с той же неспособностью перейти черту, заступить на другую сторону, выслушать и подхватить речь, которая звучит из иных мест или снизу; каждый раз один и тот же выбор на стороне власти, со стороны того, что она говорит или внушает. Отчего бы не пуститься выслушивать эти жизни туда, где говорят они сами?» — Но ведь, прежде всего, осталось бы что-либо от того, чем были они в их буйстве или в их особенном несчастье, если бы жизни эти в какое-то мгновение не пересеклись с властью и не вызвали на себя ее силы? Ведь, в конце-то концов, не в том ли состоит одна из основополагающих черт нашего общества, что судьба принимает в нем вид

отношений с властью, борьбы за нее или против нее? И впрямь, ведь самая напряженная точка жизней, место, где собирается вся их энергия, — там, где они сталкиваются с властью, бьются с ней, пытаются употребить ее силы или выскользнуть из ее ловушек. Краткие и пронзительные слова, пролетающие между властью и самыми несущественными существованиями, — вот для последних тот, наверное, единственный памятник, которым их когда-либо жаловали; вот то, что дает им, чтобы пробиться сквозь время, толику блеска, ту краткую молнию, которая доносит их до нас.

Словом, мне хотелось собрать кое-какие начатки для составления житий темных людей, исходя из тех речей, которыми в горе или в ярости люди эти обмениваются с властью.

Это «жития», потому что здесь, как и во всяких житиях, проявляется известная двойственность вымышленного и действительного. Однако же возникает она тут по противоположным причинам. Ведь житийный герой, независимо от своего действительного существа, в конце концов, есть не что иное, как свод всего, что о нем говорят. Житие безразлично по отношению к существованию или несуществованию того, чью славу оно передает. И если персонаж существовал, то житие покроет это столькими чудесами, разукрасит его столькими невозможностями, что все покажется таким или почти таким, как если бы он вообще не жил. А если же он полностью выдуман, то житие донесет о нем столько убедительных повествований, что он может вдруг обрести такую историческую жизненность, словно он существовал на самом деле. Однако в текстах, что вы прочтете ниже, жизнь этих мужчин и женщин целиком и полностью сводится к тому, что о них было сказано; ибо из того, кем они были, или от того, что они делали, не сохранилось ничего, за исключением нескольких фраз. Здесь именно нехватка, а вовсе не многословие вынуждает вымысел и действительность уравниваться друг с другом. В истории они были ничем, в событиях или среди важных людей они не сыграли мало-мальски заметной роли, не оставили вокруг себя следа, с которым их можно было бы соотнести, так что ныне они обладают существованием и всегда будут обладать им лишь в шатком убежище из этих слов. И только благодаря текстам, что о них говорят, им удастся доходить до нас, донося нам, однако, не больше примет действительности, чем если бы они исходили из «Золотой легенды»[53] или из какого-нибудь рыцарского романа. Такому чисто словесному существованию, что превращает этих горемык или нечестивцев в полувывмышленные существа, и обязаны они своим почти полным исчезновением, и тем счастьем или несчастьем, что дало сохраниться в нечаянно обнаруженных документах тем несколькими редким словам, что говорят о них, или тем, что произнесли они сами. Черная легенда, но, главное, жития безотрадные, сухие, сведенные к тому, что было однажды сказано и что лишь самые невероятные совпадения сохранили до наших дней. Такова другая черта этих черных житий. Ведь они не передавались, словно жития, позлащенные какой-то глубинной необходимостью и следовавшие непрерывными путями. По самой природе своей они существуют без передачи — исключительно через разрывы, выскабливание, забвения, перечеркивания, новые возникновения и способны они до нас доходить. И с самого начала их обуславливает случай. Ведь прежде всего нужно было какое-то стечение обстоятельств, против всякого ожидания привлекавшее к самому темному индивиду, к его непритязательной жизни, к его в конечном счете вполне заурядным недостаткам взгляд власти, и навлекло на него взрыв ее гнева: жребию было угодно, чтобы неусыпная бдительность ответственных чинов или учреждений, призванная, несомненно, к тому, чтобы устранить всяческий

беспорядок, задержала свой взгляд на вот этом греховном монахе, на вот этой побитой женщине, на этом закоренелом и буйном пьянчуге, на этом сварливом торговце, а не на стольких других, что были рядом с ними и чей галдеж был не менее громким. И потом, еще требовалось, чтобы среди стольких затерянных и рассеянных документов именно эти свидетельства, а не множество других дошли до нас и были вновь найдены и прочитаны. Так что между этими ничем не значащими людишками и нами, которые значат не более, чем они, нет никакой необходимой связи. Ничто не способствовало той вероятности, чтобы именно они, а не кто-то иной возникли из тьмы вместе со своей жизнью и бедами. Так давайте же позабавимся, если угодно, и увидим в этом хоть какую-то отместку, ибо случай, допустивший, что люди эти, безусловно лишённые всяческой славы, до сих пор возникают среди стольких мертвецов и обращаются к нам, являя всякий раз свои ярость, скорбь или необоримое пристрастие к разглагольствованию, вознаграждает, быть может, то несчастье, что навлекло на них, несмотря на их скромность и безымянность, молнию власти.

Жизни, которые будто никогда не существовали, жизни, что еще сохраняются лишь благодаря столкновению с властью, не хотевшей ничего, кроме как обратить их в ничто или, по крайней мере, сделать невидимыми; жизни, что доходят до нас лишь благодаря действию множества случайностей, — вот те бесславия, малую толику которых я и хотел здесь собрать. Однако существует беславие ложное, беславие, идущее впрок таким вызывающим ужас или негодование людям, как Жиль де Рэц,[54] Гильери[55] или Картуш,[56] Сад и Ласенэр.[57] Бесславные на первый взгляд из-за отвратительных воспоминаний, которые они оставили после себя, по причине приписываемых им злодейств, внушаемого ими благоговейного ужаса, на самом-то деле эти люди попали в свою «Золотую легенду», даже если основания для подобной известности противоположны причинам, которые составляют или должны были составлять величие людей. Их беславие — лишь видоизменение повсеместной *jama*. [58] Однако же этот монах-отступник и эти убогие умы, что заплутали на неведомых путях, бесславны в полном смысле, ибо ныне они существуют только посредством тех нескольких страшных слов, коим назначено было сделать их вовек недостойными людской памяти. Но судьбе было угодно распорядиться так, что сохранились именно эти слова, и только они. И нынешний возврат этих людей в реальность происходит в том же виде, в коем их изгнали из мира. Бесполезно искать иной их лик либо подозревать в них какое-то иное достоинство — теперь они лишь то, в чем их хотели уличить, ни больше ни меньше. Вот каково беславие чистое, беславие, что, не будучи смешанным ни с двусмысленным негодованием, ни с немым восхищением, не сочетается ни с каким видом славы.

Я вполне осознаю, что по сравнению с большим сборником о беславии, что подобрал бы в себя его следы почти из всех стран и эпох, подборка, представленная здесь, скудна, узка и несколько однообразна. Ведь речь идет о свидетельствах, которые помечены примерно одной сотней лет: 1660–1760 годами и взяты из одного источника: архивов заточения, полиции, челобитных государю и бланкетных указов за королевской печатью. Однако представим себе, что это всего лишь первый том и что «Жизнь бесславных людей» сможет растянуться и на иные страны, и на иные эпохи.

Я же выбрал эту эпоху и этот вид текстов по причине давнего знакомства. Но если пристрастие, что я питаю к ним столько лет, пока не иссякло и если даже по сей день я к

ним возвращаюсь, то это потому, что я подозреваю здесь наличие некоего начала, во всяком случае важного события, где пересеклись меж собою политические механизмы и результаты дискурса.

Эти тексты из XVII и XVIII столетий (а в особенности если сравнить их с теми, что впоследствии превратятся в административную и полицейскую пошлость) обладают какой-то лучезарностью, ибо в изгипе какой-нибудь фразы они раскрывают такой блеск и буйство, которые тотчас же изобличают, по крайней мере в наших глазах, ничтожность заведенного дела или весьма постыдную мелочность помыслов. Презреннейшие жизни изображаются здесь с такими проклятиями или таким пафосом, которые вроде бы более приличествуют жизням наитрагичнейшим. Впечатление, несомненно, комичное, ибо есть нечто смехотворное в том, чтобы призывать всю власть слов, а через них и все самовластье земли и неба ради столь пустячных неурядиц или столь заурядных невзгод: «Будучи задавлен гнетом непомерной скорби, Дюшен, приказчик, смеет со смиренным и благоговейным упованием припасть к стопам Вашего Величества, дабы с покорностию молить его о правосудии против самой злейшей из всех жен... Какою же должна быть та надежда, что должен возыметь тот несчастный, что, доведенный до последней крайности, прибегает ныне к Вашему Величеству, исчерпав уже все пути ласки, увещания и снисходительности, дабы вновь привести к долгу жену, лишенную всяческого чувства богопочитания, стыда, порядочности и даже человечности? Таково, Государь, положение несчастного, что дерзает донести свой жалобливый глас до слуха Вашего Величества». Или вот покинутая кормилица, что просит засадить под стражу собственного мужа от имени всех своих четырех детей, «которым, быть может, не приходится ничего ожидать от отца их, кроме как ужасного примера разгульной жизни. Ваша Милость, Государь, да убережет их от столь позорящего наставления, а меня, семью мою — от бесчестия и бесславия, а еще не даст дурному гражданину никакой возможности причинить какую-либо обиду обществу, ибо он способен лишь вредить ему». Быть может, вы посмеетесь, однако не надо забывать того, что на подобную риторику, столь велеречивую лишь из-за ничтожности вещей, к коим она прилагается, власть отвечает в выражениях, едва ли кажущихся более умеренными; с той только разницей, что в ее словах до адресата доходит молния ее решений, а торжественность этих слов может черпать свою силу если не от важности наказуемого, то, по крайней мере, из суровости налагаемого ими наказания. И если заточают под стражу какую-нибудь гадалку по гороскопам, так это потому, что «мало злодеяний, каковых она не совершала, и ни одного, к коему она не была способна. Так что нет большей благотворительности и справедливости, нежели незамедлительно избавить общество от женщины столь зловредной, что уже столько лет безнаказанно его обкрадывает, дурачит и вводит во грех». Или же об одном юном вертопрахе, дурном сыне и распутнике: «Это исчадие самовольства и богохульства... Привыкший ко всем порокам: плут, неслух, наглец, буян, способный умышленно посягнуть на жизнь собственного отца своего... всегда в обществе женщин легкого поведения. Всё, что растолковывают ему насчет его плутовских проделок и бесчинств, не имеет никакого впечатления на сердце его — он откликается на это лишь злодейской ухмылкой, которая изобличает его косность и дает лишь основания для опасений в его полнейшей неисцелимости». Малейшая шалость — и мы тотчас оказываемся посреди мерзости или, по крайней мере, в поносящем и проклинаящем дискурсе. И эти безнравственные жены, и эти несносные дети никоим образом не бледнеют рядом с Нероном или с Родогунной.[59] Дискурс власти в классическую эпоху, как и дискурс,

что обращается к ней, рождает чудовищ. Так для чего же этот столь выпященный театр повседневного?

Воздействие власти на обыденную жизнь организовывалось христианством по большей части вокруг исповеди, вокруг обязанности регулярно вплетать в нить языка ничем не примечательный мир будничного: заурядные прегрешения, неприметные слабости вплоть до смутного сплетения мыслей, помыслов и желаний; вокруг ритуала признания, когда говорящий есть в то же самое время тот, о ком говорят; вокруг стирания вещи, сказанной посредством самого высказывания; но не в меньшей степени и вокруг преувеличения самого признания, которому суждено навсегда оставаться тайной, чтобы не оставить за собой иного следа, кроме раскаяния и покаянных трудов. Именно христианский Запад выдумал это странное принуждение, налагаемое им на каждого: говорить всё, чтобы все стереть, излагать всё, вплоть до малейших провинностей, в безостановочном, неистовом, утомляющем бормотании, от которого ничто не должно укрыться, но которое все-таки ни на мгновение не должно было пережить само себя. Для сотен миллионов людей и на протяжении многих столетий зло должно было изобличать себя в принудительном и мимолетном шепоте.

Однако начиная с поры, которую можно отнести к концу XVII столетия, подобный механизм оказался обрамлен и превзойден другим механизмом, действовавшим совершенно иначе. Отныне это устройство административное, а уже не церковное, механизм регистрации, а уже не прощения. Преследуемая цель оставалась тем не менее той же. По крайней мере, отчасти: включать повседневное в рассуждение, обозревать ничтожный мир незначительных неправильностей и нарушений. Однако признание уже не играет тут той выдающейся роли, что уготовило для него христианство. Для этой классификации мы используем, причем весьма последовательно, прежние приемы, но до той поры локализованные: доносы, жалобы, расследования, уведомления, слежку или допрос. Однако все, что говорится, еще и отмечается на письме, накапливается, составляет досье и архивы. Одинокий, мимолетный и не оставляющий следа голос покаянного признания, который вымарывал зло и умолкал сам, подхватывается отныне множеством голосов, откладывающихся в непомерную грудку письменных свидетельств и тем самым образующих со временем нечто вроде непрерывно возрастающей памяти обо всем зле мира. Неприметное зло человеческого убожества или прегрешения больше не отправляется на небеса посредством едва слышимой откровенности исповедания: оно накапливается на земле в форме письменных следов. Между властью, дискурсом и повседневностью устанавливается совершенно иной тип отношений, совсем другой способ управлять повседневностью и формулировать ее. Так рождается новая мизансцена для обыденной жизни.

Нам известны ее первое старинное и тем не менее уже в ту пору сложное снаряжение — это челобитные, бланкетные указы за королевской печатью или королевские повеления, различные виды заточения, полицейские уведомления и постановления. Я не буду возвращаться к этим уже знакомым вещам, а обращу внимание лишь на те немногие аспекты, что помогут осознать ту странную мощь и своего рода красоту, коими расцветчиваются порой эти небрежные картины, на которых убогие люди обретают для нас, видящих их из такой дали, лик бесславия. Бланкетные указы за королевской печатью,

помещение под стражу, повсеместное присутствие полиции — все это вызывает у нас обыкновенно лишь мысль о деспотизме абсолютного монарха. Но ведь надо понять, что «произвол» этот был своего рода общественной службой. Ибо «государевы указы» обрушивались нежданно-негаданно сверху вниз как знаки монаршего гнева, лишь в очень редких случаях. По большей части они возбуждались против кого-либо его окружением, его отцом или матерью, одним из его родителей, семейством, сыновьями и дочерьми, соседями, иногда местным приходским священником или какой-нибудь знатной особой; и их выклиничивали, как будто бы дело шло о каком-то величайшем злодеянии, что непременно заслуживало высочайшего гнева, из-за какой-нибудь темной семейной дрязги: осмеянные или побитые супруги, проматываемое состояние, конфликты интересов, непослушные юнцы, плутовские проделки или попойки и незначительная невоздержанность в поведении. Бланкетный указ за королевской печатью, который предъявлялся как открытая и личная воля короля заточить в кандалы одного из подданных в обход путей законного судопроизводства, был лишь ответом на подобное требование, исходящее снизу. Однако такой указ не причитался с полным правом тому, кто о нем ходатайствовал: ему должно было предшествовать следствие, коему было предназначено судить об обоснованности данного требования, следствие, призванное установить, вполне ли заслуживают подобное распутство или подобное пьянство либо такое насилие и своеволие помещения под стражу, и если заслуживают, то при каких условиях и на какое время — задача полиции, которая во исполнение этого и собирала свидетельства, доносы и всю ту подозрительную молву, что напускает туман вокруг каждого.

Подобная связка: бланкетный указ за королевской печатью — заточение, была лишь одним достаточно кратким явлением, которое длилось не более столетия и имело место только во Франции. И тем не менее в истории механизмов власти она была весьма значимой. Ибо обеспечивала она вовсе не самочинное вторжение королевского произвола в стихию повседневной жизни. Скорее, она обеспечивала его распределение по сложным сетям, и притом через сложное взаимодействие запросов и ответов. Так что же это — злоупотребление абсолютизма? Возможно, однако не в том смысле, будто бы монарх ни с того ни с сего злоупотребляет собственной властью, а в том, что каждый может употребить для себя, в собственных целях, и против других всю безмерность безусловной власти — своего рода передача механизмов самовластия в наем и в распоряжение, некая возможность, предоставляемая тому, кто окажется достаточно искусен для того, чтобы воспользоваться ими, и обратиться к своей выгоде их воздействия. Отсюда и определенное число последствий: политическое самовластие начинает размещаться на самом простейшем уровне общественного тела; от субъекта к субъекту (и речь подчас идет о самых смиренных), между членами одной и той же семьи, в отношениях соседских, корыстных или цеховых, в отношениях соперничества, ненависти или любви мы можем помимо традиционных орудий господства и повиновения употреблять к своей выгоде средства политической власти, которая принимает форму абсолютизма; и тогда каждый, если он знает правила этой игры, может становиться для другого грозным и незаконным монархом: *homo homini rex*;<sup>[60]</sup> и вся политическая цепочка начинает переплетаться с канвой повседневного. Однако эту власть надо еще хотя бы на мгновение присвоить себе, направить в нужное русло, «схватить» и отклонить в желательном направлении; для того чтобы употребить ее к своей выгоде, ее надо «соблазнить»; и она разом превращается и в предмет вождения, и в объект обольщения, а стало быть, становится желаемой, и это в

той самой мере, в какой она, безусловно, внушает страх. Вмешательство неограниченной политической власти в повседневные отношения становится, таким образом, не только приемлемым и привычным, но и в высшей степени желаемым, однако не без того, чтобы благодаря самому этому факту стать предметом всеобщего страха. Так что не приходится удивляться тенденции, что мало-помалу распахнула отношения принадлежности или зависимости, традиционно связанные с семьей, для различных видов политического и административного контроля. Не приходится удивляться и тому, что непомерная власть короля, действующая вот таким образом в средоточии различных страстей, озлобления, невзгод и мерзостей, умудрилась превратиться, несмотря на ее полезность, а скорее даже по причине этой полезности, в предмет отвращения. Те, кто употреблял бланкетные указы за королевской печатью, и король, который эти указы издавал, попались в ловушку как сообщники: первые все больше утрачивали свое традиционное могущество к выгоде административной власти, а король, оказавшийся каждодневно замешиваемым в такое количество ненавистей и козней, стал предметом ненависти. Как говорил о том герцог де Шолье, кажется, в «Воспоминаниях двух юных жен»: «Отрубив голову королю, Французская революция обезглавила всех отцов семейства».[61]

Из всего этого мне бы хотелось на некоторое время задержать внимание на следующем: вместе с таким аппаратом челобитных, бланкетных указов за королевской печатью, помещений под стражу и полиции вскоре родится несметное количество дискурсов, которое пронизет повседневность во всех направлениях и возьмет на себя, но совершенно иначе, чем это делала исповедь, неприметное зло ниче-го не значащих жизней. По весьма запутанным окольным путям в сети власти начинают попадаться распри между соседями, раздоры между родителями и детьми, склоки между супругами, излишества вина и пола, драки в общественных местах и, разумеется, тайные страсти. Было в этом нечто от чрезвычайного и повсеместного призыва ко включению в дискурс и всех этих волнений, и каждого из этих маленьких страданий. Так начинает доноситься некое бормотание, которое уже никогда не прервется, — шепот, через который индивидуальные отклонения в поведении, постыдные поступки и тайны предоставляются дискурсом для захватов их властью. Всякий, кем бы он ни был, перестает принадлежать безмолвию, преходящей молве или мимолетному признанию. И все явления, что образуют обыденное: ничего не значащие подробности, безвестность, заурядные будни, простое житье — могут и должны быть сказаны, а еще лучше — записаны. Описываемыми и переписываемыми они становятся в той самой мере, в какой пронизываются механизмами политической власти. Долгое время без издевки описывались лишь деяния великих, ибо на историю право давали исключительно кровь, рождение и подвиг. А если уж иногда и случалось так, что самые униженные достигали какой-либо славы, то всегда из-за чего-то чрезвычайного: либо благодаря сиянию святости, либо из-за чудовищности злодеяния. Какая бы тайна, которую нужно открыть, ни таилась во всегдашней череде дней, как бы ни могло оказаться значимым несущественное — все это оставалось исключенным до той поры, пока надо всей этой малоприметной сумятицей не застыло невидимое око власти.

Итак, рождение невероятной возможности дискурса. Именно здесь, по крайней мере отчасти, берет начало известное знание о повседневности, а вместе с ним и та схема понимания, которую Запад вознамерился наложить на наши поступки, на наши способы существования или действия. Но для всего этого требовалось одновременно

действительное и предполагаемое всеприсутствие монарха; необходимо было вообразить его достаточно близким ко всем этим бедам, достаточно внимательным к малейшему из этих беспорядков; для того чтобы люди принялись докучать ему со своими хлопотами, требовалось, чтобы сам он представал как наделенный даром своего рода телесной вездесущности. В своем первоначальном виде этот дискурс повседневности целиком и полностью был обращен к королю, он адресовался ему, он должен был проникать в пышные церемониальные ритуалы власти, он должен был усваивать их форму и облачаться в их знаки. Заурядное могло быть сказано, записано, описано, подмечено, разлиновано и расценено лишь в соотношении с властью, неотступно связанной с образом короля, связанной через его действительную власть и через фантом его могущества. Отсюда и тот совершенно особый вид подобного дискурса, ибо он требовал языка вычурного, украшающего или умоляющего и изрыгающего проклятия. Каждой из этих маленьких бытовых историй следовало рассказываться с выразительностью, приличествующей тем редким событиям, что достойны привлечь к себе внимание монархов, и потому пышная риторика должна была облекать эти ничтожные дела. Впоследствии никогда ни мрачная полицейская администрация, ни угрюмые досье медицины или психиатрии не будут обнаруживать подобных языковых воздействий. Иной раз пышное словесное построение может рассказывать о совершении какой-то темной мерзости или мелкой проказы, иногда это могут быть несколько кратких фраз, низвергающих громы и молнии на какого-нибудь беднягу и вновь погружающих в его собственную тьму, или же это может оказаться долгая повесть о бедствиях, поведенная с мольбой и смирением, — политический дискурс об обыденности мог быть только величественным.

Но эти тексты порождают впечатление и иного несоответствия. Ибо часто случалось так, что требования о помещении под стражу делались людьми весьма скудного состояния, едва грамотными или вовсе не грамотными; сами они со своими худыми познаниями или на их месте какой-нибудь более или менее ловкий грамотей слагали, как могли, формулы и обороты речи, которые потребны, как им думалось, когда мы обращаемся к королю или к вельможным особам, и они их мешали со словами неловкими и жестокими, с мужицкими выражениями, при помощи которых они, наверное, думали придать своим челобитным силу и истинность; и тогда в торжественных фразах со множеством придаточных предложений, наряду со словами, высокопарно затемненными, прорываются выражения грубые, неловкие, противные слуху; в обязательный церемониальный язык вплетаются досада, гнев, ярость, страсти, злопамятность и возмущения. Какая-то дикая дрожь и неистовая напряженность ниспровергают правила этого чопорного дискурса и пробиваются на свет с их собственными оборотами речи. Вот как говорит жена Николя Вьенфэ:[62] она «осмеливается с превеликим смирением бить челом Всемиловитейшему Государю, что упомянутый Николя Бьенфэ, наемный кучер, является мужчиной весьма разнузданным, он убивает ее своими тумакми, он все пропивает, до того умертвивши уже двух жен своих, у первой из коих он убил ребенка в ее чреве, а вторую же, промотавши и проевши все добро ее, своим дурным обхождением он вынудил умереть от хвори и даже хотел удушить ее накануне смерти ее... У третьей же он хочет сожрать сердце, зажав его на вертеле, не считая множества других душе-губств, им учиненных; Всемиловитейший Государь, я бросаюсь в ноги Вашего Величества, дабы молить о Вашей Милости. Полагаюсь на доброту Вашу, что Вы праведно решите беду мою, ибо жизнь моя всякий час подвергается опасности, а я не перестану молить Господа за сбережение здоровья Вашего...»

Свидетельства, что я здесь собрал, однородны, и есть опасность, что они могут показаться однообразными. Всё тем не менее работает на несоответствие. Несоответствие между явлениями рассказанными и тем, как о них повествуют; расхождения между теми, кто пишет жалобы и прошения, и теми, что вершат над ними всю свою власть; разрыв между ничтожностью поднимаемых вопросов и безмерностью приводимой в действие власти; рознь между языком власти и церемоний и языком исступления и немощи. Это тексты, что ориентированы на Расина, на Боссюэ или на Кребийльона, но они несут в себе все народное буйство, всю нищету и жестокость, всю, как говорили тогда, «низость», что никакая литература той поры не могла бы принять. Они выставляют убогих, бедных или же просто-напросто заурядных людей в странном театре, где те совершают телодвижения, повышают голос, произносят напыщенные речи; где те обряжаются в суконные лохмотья, что им необходимы, раз уж они хотят, чтобы на них обратили внимание на сцене власти. Порой они напоминают труппу нищих фигляров, что с грехом пополам разряжалась в какую-нибудь мишуру, бывшую некогда роскошными одеждами, чтобы резвиться перед обществом богатеев, которое будет глумиться над ними. Это напоминает разыгрывание ими своей собственной жизни, причем перед могущественными людьми, которые могут ее решить. Персонажи Селина, жаждущие, чтобы их слушали в Версале... Настанет день, и вся эта разноголосица окажется стертой. Ибо та власть, что станет осуществляться на уровне повседневной жизни, больше не будет властью близкого и одновременно далекого монарха, всемогущего и взбалмошного, источника всяческого правосудия и объекта любого соращения, политического принципа и чудодейственной силы; она будет составлена из тонкой, сплошной, дифференцированной сети, в которой будут непрерывно сменять и поддерживать друг друга разнообразные установления правосудия, полиции, медицины, психиатрии. И дискурс, что будет складываться в ту пору, больше не будет обладать прежней театральностью, искусственной и неумелой: он разовьется в некий язык, который начнет притязать на то, чтобы быть языком наблюдения и беспристрастности. Заурядное будет разбираться в соответствии с действенной, однако же серой и неприметной решеткой управления, журналистики и науки, так что красоты его нам придется искать чуть поодаль от всего этого, в литературе. Но в XVII и в XVIII столетиях мы еще в грубом и варварском времени, где всех эти опосредований пока не существует; тела людей окаянных почти непосредственно сталкиваются с телом короля, их волнение — с его церемониальностью, и точно так же тут нет общего языка, а есть лишь стычка между воплями и обрядами, между бесчинствами, о которых хотят сообщить, и строгостью образцов, которым необходимо следовать. Отсюда для нас, издали взирающих на этот первый выход повседневного на уровень кода политики, в этих странных предвестиях чувствуется что-то кричащее и напряженное, то, что будет утрачено впоследствии, когда мы начнем превращать и таких людей, и все эти вещи в «дела», в «происшествия» или случаи.

Важная эпоха, когда общество вдруг решило снабдить безымянную массу людей своими словами, остротами и изречениями, своими речевыми ритуалами только ради того, чтобы они могли говорить о самих себе, и говорить о себе публично, с тем лишь простым условием, чтобы речь эта, этот дискурс посылался и вводился в обращение внутри совершенно определенного аппарата власти, чтобы этот дискурс выявлял до того времени едва различимые глубины этих жизней и чтобы, отталкиваясь от этой ничтожной войны страстей и корыстных интересов, оно предоставляло власти возможность верховного вмешательства. Ухо Дионисия,[63] если бы мы сравнили его со всем этим, показалось бы нам только

наипростейшим маленьким устройством. Как, наверное, легко и просто было бы разломать и уничтожить власть, если бы она только надзирала, подглядывала и выслеживала, застигала врасплох, запрещала и наказывала, однако же она поощряет, возбуждает и производит; она не просто око или ухо — она заставляет действовать и говорить!

Для установления новых видов знания подобная машинерия, несомненно, оказалась значимой. Не чужда она также и совершенно новому строю литературы. Под этим я имею в виду вовсе не то, что бланкетный указ за королевской печатью находится в точке возникновения новых видов словесности, но то, что на рубеже XVII и XVIII столетий отношения дискурса власти, повседневной жизни и истины завязались каким-то совершенно новым и небывалым образом, куда оказалась вовлеченной еще и литература.

Сказание (*fable*), согласно самому смыслу это слова, — это то, что достойно быть сказанным. Издавна в западном обществе обыденная жизнь могла выходить на уровень дискурса, лишь будучи пронизанною и преображенною баснословным (*fabuleux*); было необходимо, чтобы она извлекалась из самой себя либо героизмом и подвигами, либо похождениями, промыслом Божьим или же благодатью, а в иных случаях еще и злодейством; было необходимо, чтобы она была отмечена прикосновением невозможного. И исключительно в таких случаях она способна была стать высказанной. То, что делало эту жизнь недостижимой, позволяло ей функционировать в качестве наставления и образца. И чем больше повествование выбивалось из обыденного, тем больше в нем было силы, чтобы околдовывать или же убеждать. В подобном взаимодействии «баснословного и назидательного» именно неразличимость истинного и ложного оказывалась основополагающей. А если бывало так, что кто-то принимался говорить о заурядности действительного ради нее самой, то происходило это разве что для того, чтобы произвести комический эффект, ибо стоило заговорить о ней, как это вызывало хохот.

Однако же начиная с XVIII века на Западе родилось настоящее «сказание» о темной жизни, откуда баснословное оказалось исключено. Невозможное или смехотворное вдруг перестали быть теми условиями, при которых мы могли рассказывать об обыденном. Рождается некое речевое искусство, чья задача теперь — не воспевать невероятное, но выявлять то, что не выявляется — не может или не должно показываться, а именно — искусство выражать самые нижние и самые сокрытые уровни действительного. В пору, когда начинают создавать некий аппарат для того, чтобы вынуждать говорить «ничтожнейшее», то, что само не сказывается, то, что не удостоивается ни малейшего отблеска славы, а стало быть, «бесславное», складывается некий новый императив, который и будет составлять то, что можно назвать неотъемлемой этикой литературного дискурса Запада, ибо его обрядовые назначения будут мало-помалу изглаживаться, и останется у него лишь одна задача: уже не являть осязаемо слишком зримое сияние силы, благодати, доблести или могущества, а выискивать то, что труднее всего заметить, самое потаенное, самое неудобное для показа и речи, а потому, в конце концов, самое запретное и самое греховное. Это своего рода строжайшее предписание изгонять самую ночную и будничную часть жизни из ее логовища (даже если придется порой распознавать в ней величественные обличья судьбы) и будет обрисовывать то, что с XVII века станет направлением развития литературы, с той поры, как она начала быть литературой в современном смысле слова. Ее основные черты определяются не столько какой-либо особой ее формой или каким-либо необходимым

отношением с формой, сколько именно этим принуждением, я бы даже сказал, именно этой моралью, а донес ее до нас всеобъемлющий императив: обязательство излагать самые распространенные из секретов. Конечно же, литература сама по себе не охватывает всю эту великую политику, всю эту великую этику рассуждения, она также не сводится к ней и вся целиком, однако она обнаруживает в ней свое место и условия своего существования.

Отсюда же ее двойная связь и с истиной, и с властью. Если баснословное может существовать и функционировать лишь в рамках некоей неразрешенности между истинным и ложным, то литература учреждается в рамках разрешения неистинности, ибо она явным образом выдает себя за искусство, однако же берясь производить действия истины, которые могут признаваться за таковые; и то значение, каковое в классическую эпоху придавали естественности и подражанию, является, по-видимому, одним из первых способов выразить это функционирование «по правде» литературы. С тех пор как баснословное заместилось вымышленным, роман избавляется от романического и будет развиваться, лишь освобождаясь от него все более полно. Выходит, что литература выступает как часть той огромной системы принуждения, посредством которой Запад заставил повседневное вкладывать себя в дискурс, однако в ней она занимает особое место: литература, ожесточенная в раскапывании под самую собой повседневного, в преодолении пределов, в насильственном или лукавом разоблачении сокровенного, в перестановке правил и установлений, в побуждении говорить то, в чем невозможно признаться, она будет стремиться помещать себя вне закона или, по крайней мере, возлагать на себя бремя греха, преступления или бунта. Больше чем всякий иной вид речи, она продолжает быть дискурсом «бесславия», ведь именно ей назначено говорить самое неизъяснимое — самое худшее, сокровенное, нестерпимое и постыдное. В этом смысле оказывается весьма знаменательной та зачарованность, в которую вот уже долгие годы вводят друг друга литература и психоанализ. Но однако же нельзя забывать, что это исключительное положение литературы является только следствием определенного устройства власти, которое на Западе проходит сквозь всю экономию дискурсов и все стратегии истинного.

Вначале я говорил, что мне бы хотелось, чтобы эти тексты читали точно так же, как «новеллы». Сказано, наверное, чересчур запальчиво, ведь ни один из них никогда не будет стоять самой незначительной повести Чехова, Мопассана или же Джеймса. Ни «полу-», ни «недолитература», ни даже зародыш какого-то жанра — это происходящая в сумятице, в гаме и муках обработка жизнью властью и возникающий отсюда дискурс. Прислушайтесь, «Манон Леско»[64] расскажет одну из своих историй.

---

Версия #2

Зверобой создал 31 января 2026 03:46:40

Зверобой обновил 2 февраля 2026 00:10:54